



Интервью с Александром Бенционовичем ГОФМАНОМ

«СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ... — ЭТО СФЕРА СВОБОДЫ»

Гофман А. Б. — окончил исторический факультет Ленинградского педагогического института им А.И.Герцена, доктор социологических наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Москва. Основные области исследования: история и теория социологии, социология культуры, потребления, индустриального дизайна и моды. Интервью состоялось в 2005-2006 годах.

В 1999 году я познакомился с А.Б. Гофманом — автором небольшой, но емкой книги «Семь лекций по истории социологии». Я купил ее в Петербурге и не отрываясь прочел за время перелета в Сан-Франциско. В начале лета 2005 года В.А. Ядов познакомил меня заочно с Александром Бенционовичем Гофманом, указав его среди наиболее успешно работающих «шестидесятилетних» социологов и отметив, что его «Семь лекций по истории социологии» студенты считают наилучшим пособием. Я сразу же позвонил Гофману в Москву, и мы договорились об интервью. В конце того же года, будучи в Институте социологии РАН, я в третий раз познакомился с ним, уже лично. Те, для кого это интервью будет первой встречей с Гофманом, уверен, постараются затем обстоятельно познакомиться с его работами. А в последующем они будут обращаться к ним постоянно.

Гофман А. Б.: «Социальная реальность ... — это сфера свободы»¹

Позитивизм и социология

Саша, в нашем телефонном разговоре мы обнаружили общие симпатии к позитивизму... пожалуйста, продолжи эту тему.

Несмотря на то, что я, в отличие от тебя, «чистый» гуманитарий и по образованию и, вероятно (а может быть, неизбежно), по способу мышления, тем не менее, я, как и ты, тоже чувствую себя «позитивистом». Но при этом понятие позитивизма и в философии, и в социологии мне представляется в высшей степени многозначным, неопределенным и выражающим самые разные и даже противоположные теоретико-методологические позиции. Мне приходилось уже высказываться по этому вопросу и устно (в частности, в 1995 г. на международной конференции в Бордо, Франция, где в течение одного дня я руководил заседанием на тему «Позитивизм в современной социологии»), и письменно — на страницах «Социологических исследований» [1]. Поэтому здесь я, видимо, частично повторяюсь; кажется, Бернард Шоу говорил: «Люблю цитировать самого себя, это очень пикантно».

Мне кажется, что слово «позитивизм» давно уже напоминает такие слова, как «счастье» или «любовь», в том смысле, что каждый понимает его по-своему. Например, в советские времена в любом учебнике марксистско-ленинской философии можно было прочитать примерно следующее определение предмета этой дисциплины: «Философия — это наука о наиболее общих законах природы, общества и человеческого мышления». Под этим определением безоговорочно подписались бы родоначальники «первого» позитивизма Огюст Конт и Герберт Спенсер. В таком случае следует предположить, что либо Маркс, Энгельс и Ленин были не диалектическими материалистами, а позитивистами, либо Конт и Спенсер неосознанно, сами того не подозревая, были марксистами-ленинцами, либо, наконец, позитивизм и марксизм-ленинизм — это одно и то же. И то, и другое, и третье выглядит маловероятным или абсурдным.

В социологии, на мой взгляд, эта многозначность позитивизма особенно велика. Подобно мифическому Протею, он постоянно меняет свои обличья. Например, родоначальник «первого позитивизма» Огюст Конт выступал против применения математических методов в социологии (хотя и был математиком по своей основной «специальности»). Но именно применение математических методов в XX веке стало восприниматься как одна из главных характерных черт позитивизма в социологии. К сегодняшнему дню мы располагаем уже множеством позитивизмов, как реальных, так и тех, что существуют лишь в воображении их противников. Если что и объединяет различные разновидности «позитивизма», так это то, что для многих он стал бранным словом. (В России в этом отношении в последние годы с ним может конкурировать разве что мифический «либерализм», который постоянно и самозабвенно критикуют со всех сторон, обвиняют во всех грехах и который не существует нигде, кроме как в сознании его критиков.) Иногда даже складывается впечатление, что критика позитивизма в социологии родилась раньше него самого. Многочисленные ниспровергатели позитивизма, сменяющие друг друга на протяжении многих лет, сначала рисуют заведомо вульгаризованный и отталкивающий образ этого нехорошего явления, а затем победоносно его «преодолевают». Но потом уже их самих обвиняют в том же, и история повторяется.

На мой взгляд, за критикой этого мифического «позитивизма» часто скрываются,

1 Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2007. № 2. С. 2–13.

осознанно или неосознанно, с одной стороны, критика социологии и науки в целом, а с другой – стремление утвердиться в них же. На это можно, конечно, возразить, что наука не стоит на месте, что изменяются эталоны научности и старые рамки позитивизма мешают ее дальнейшему развитию. Именно этим и занимаются в последние годы сторонники «постмодернизма» или те, кто пытается внедрить его в социологию. Нередко такого рода критика может быть полезной и играть стимулирующую роль для развития социологического знания. Но в этих случаях речь чаще всего идет не о социологии, а о чем-то другом: о философии познания, социальной мысли, социальной метафизике и т.п. И не надо последние выдавать за первую, во-первых, потому, что это нечестно (извините за морализаторство), во-вторых, потому, что это смешение препятствует развитию как социологии, так и других форм социального и гуманитарного знания.

Итак, я тоже позитивист. Но не «натуралистический» позитивист, так как признаю специфику наук о человеке, обусловленную особенностями их объекта. Какими? 1. В данном случае, в отличие от естественных наук, человек познает самого себя (в этом отношении такой выдающийся противник социологии, как Вильгельм Дильтей, был совершенно прав), и в социологии мы имеем дело с одной из форм самопознания человека и общества. 2. Социальная реальность представляет собой одно из главных измерений человеческого существования, а потому – это сфера свободы. Как писал Анри Бергсон, еще один выдающийся противник социологии, внесший неопределимый вклад в ее развитие (мне посчастливилось перевести на русский язык издавна любимую мной книгу «Два источника морали и религии», сопроводив ее послесловием и комментариями), свобода – это факт, и из всех научно и достоверно установленных фактов она является самым достоверно установленным (цитирую по памяти, поэтому, видимо, неточно, но смысл именно такой).

Саша, ты сказал, каким позитивистом не являешься, а каким являешься?

Я позитивист в том смысле, что, несмотря на признание специфики социологии как гуманитарного знания, исхожу из принципиального единства науки, эпистемологического и этического. Я позитивист, потому что считаю социологию наукой, следовательно: 1) отличной от других форм знания (обыденного, морального, религиозного и т.п.), хотя и не противоположной перечисленным в скобках формам; 2) требующей применения определенных правил и процедур доказательства, проверки, опровержения и т.п.; 3) обязательно включающей номологические высказывания; 4) являющейся знанием систематизированным, отличным от хаотического набора сведений; 5) отличающейся особой этикой, предписывающей выводить должное из сущего, а не наоборот. И т.д. Здесь я уже цитирую первую из «Семи лекций по истории социологии» и таким образом плавно перехожу к теме, о которой мы решили поговорить обстоятельно...

«Семь лекций по истории социологии».

Твои «Семь лекций по истории социологии» стали сразу хитом и удерживают первенство в этом жанре уже много лет. Как возникла идея книги? В чем ты видишь причину ее успеха?

Я занимался историей социологической мысли со студенческих лет, затем в аспирантуре и после ее окончания. В общем, я был специалистом в этой области, точнее, или прежде всего, – в области истории французской социологической мысли. Естественно поэтому, что у меня возникла подобная идея. Замечу, что книги по истории социологии сегодня в России пишут не только специалисты; нередки случаи, когда человек прочитает 2–3–5 книг в данной области – и вперед: излагает то, что прочитал,

своими (или не своими) словами, слегка изменяя (или не изменяя) прочитанное, – и готово. Иногда такие книги называются учебниками, что дает большой простор для явного и неявного плагиата. Ранее я писал статьи по истории социологии, участвовал в написании коллективных трудов. Когда в начале 1990-х годов Фонд Сороса объявил конкурс на соискание грантов по учебной литературе в области социальных и гуманитарных наук, я решил принять в нем участие не только как член авторского коллектива, но и как индивидуальный автор.

Ты спрашиваешь, в чем я вижу причину успеха моей книжки? Мне, конечно, трудно ответить более или менее определенно на этот вопрос, могу лишь строить предположения. Одно из них: может быть, дело как раз в том, что этот текст написан специалистом. Для меня очевидно, что научные книги, в том числе учебники и учебные пособия, должны писать специалисты. И не надо говорить о том, что критерии здесь неопределенны. Это, конечно, так, да и бывают выдающиеся дилетанты, вклад которых в науку огромен (эта тема может быть предметом отдельного обсуждения). Тем не менее, на мой взгляд, мы слишком часто забываем о том, что в социологии, как и в любом виде профессиональной деятельности, будь то работа актера или сантехника, между профессионалом и непрофессионалом различия существуют. Вроде бы это очевидно, но, к сожалению, в нашем социологическом сообществе этот трюизм хорошо бы вспоминать почаще.

Еще одна причина популярности «Семи лекций», как мне кажется, состоит в том, что они написаны популярно, как ни тавтологично выглядит это предположение. Убежден, что язык науки вообще и социальной науки в частности специфичен и требует специальных усилий и изучения, если мы хотим на нем говорить и читать. Это значит, что книги или статьи по социологии не могут и не должны читаться так же легко, как «Граф Монте-Кристо» или «Гарри Поттер». Это же, кстати, относится и к языкам различных искусств. Существует исторический анекдот, прекрасно иллюстрирующий эту проблему. На одной из парижских выставок Пабло Пикассо к нему обратилась некая дама со словами: «Месье Пикассо, Ваше искусство мне совершенно непонятно. Почему так происходит?». «Мадам, а Вы говорите по-японски?», – спросил ее в свою очередь художник. «Нет», – с удивлением ответила женщина. «Я тоже», – сказал Пикассо.

И тем не менее, я полагаю, что мы, социологи, должны стремиться к максимально возможной ясности своих высказываний, особенно, конечно, в учебной литературе. К этому я стремился, в частности, в «Семи лекциях», стараясь в то же время ничего не упрощать, не обходить сложных проблем, а, наоборот, рассматривать их в первую очередь. Вообще я думаю, что иногда ясность автору можно использовать в качестве своего рода лакмусовой бумажки качества производимого им текста: если попытаться прояснить его хотя бы самому себе, и после этого он не покажется бессмысленным, банальным или сомнительным со стилистической точки зрения, то, возможно (хотя и не обязательно), это текст неплохой. Факт публикации означает стремление автора осуществлять коммуникацию с читателем; в противном случае он должен наслаждаться своим текстом, читая его самому себе, близким родственникам или друзьям. Следовательно, автор сначала сам должен понять, что он хочет сказать, а затем постараться наиболее эффективным образом сообщить это читателю. Именно это я и старался сделать в упомянутой работе, как, впрочем, и в других.

Когда вышло первое издание лекций? Сколько изданий уже было?

Первое издание вышло в 1995 году в московском издательстве «Мартис». Затем в течение двух лет я совершал слабые попытки переиздать книгу, но неудачно: либо у издательств не было средств, либо они не хотели рисковать, либо они были очень гордыми и желали быть обладателями «права первой ночи», а не печатать второе

издание. Я совсем уже было махнул рукой на это дело, но неожиданно издательство «Книжный Дом “Университет”» само меня разыскало и предложило переиздать книгу. Второе издание вышло в 1997 г. С тех пор это издательство неоднократно ее переиздавало. В 2006 г. вышло 8-е издание, не считая того, что вошло в сборник моих работ «Классическое и современное. Этюды по истории и теории социологии» [2]. Кроме того, существует и интернет-версия этой книги. Хочу отметить, что все издания стереотипные, я ничего в них не добавлял, не убавлял и не изменял.

Кстати, может быть, в переизданиях и, следовательно, относительно большом (по нынешним меркам) общем тираже содержится еще одна из причин той популярности, о которой ты спросил. Если, как ты говоришь, книга и стала хитом, то не сразу, а примерно со второго издания, когда тираж стал более или менее значительным. И наоборот, если бы не было изданий, следовавших за первым, то, возможно, и популярности особой бы не было, хотя бы потому, что книга была бы недоступна. Это старая проблема, касающаяся любого товара, в том числе книг. С одной стороны, издатели вроде бы стараются выпускать то, что, по их представлениям, востребовано и будет пользоваться спросом. И это, безусловно, хорошо. Ни к чему повторять практику советских времен, когда повсюду лежали горы никому не нужных книг по общественным наукам. Но с другой стороны, сами эти представления издателей, далеко не всегда соответствующие реальным и потенциальным потребностям, диктуют предложение и тем самым формируют спрос. В частности, книги «легкого» жанра, например детективы, продаются буквально круглосуточно на всех углах. Я не настолько наивен, чтобы думать, что книги по социальным и гуманитарным наукам могут равняться по тиражам с детективами или эротикой. Но подозреваю, что даже «Критику чистого разума» покупали бы гораздо чаще, если бы ее предлагали так же настырно и повсеместно.

Интересен, на мой взгляд, опыт Франции по пропаганде книг социального и гуманитарного жанра, с которым я немного знаком. Когда там выходит книга подобного рода, к ней сразу привлекается общественное внимание: она выставляется на самое видное место в витринах магазинов, в газетах появляются рецензии, на телевидении устраиваются беседы с автором, дискуссии и т.п. Это не значит, что все эти труды высокого качества. Но даже низкое качество, не говоря уж о высоком, в таких случаях должно быть на виду. У нас же в данной области идет некий книжный поток, где-то что-то выходит, но никто, в общем, не пытается всерьез разобраться, что в этом потоке качественно, а что нет; видимо, этим заниматься придется уже потомкам. Впрочем, я, кажется, отвлекся.

Чем определилось содержание лекций: именно эти семь, а не пять или девять?

Признаюсь, на этот вопрос у меня тоже нет определенного и однозначного ответа. Так и хочется ответить: «Так получилось». Проблема выбора темы (тем) для исследования или «представления» определенных теорий, направлений, подходов, авторов всегда стоит перед историком социологической мысли; он неизбежно сталкивается с проблемой критериев такого выбора (частично я обсуждаю этот вопрос в первой лекции). Помимо общих критериев, о которых идет речь в первой лекции, я, разумеется, руководствовался и личными критериями и мотивами, в частности и прежде всего тем, насколько хорошо я смог разобраться в определенном сюжете, чтобы написать о нем. Очень многих тем в этой небольшой книге нет не потому, что я считаю их недостаточно важными для истории социологии, а просто потому, что у меня до них не дошли руки и (или) я не считаю себя в них достаточно компетентным. Мне бы очень хотелось, чтобы в книжке были лекции о Спенсере, Максе Вебере или Зиммеле, и тогда их было бы восемь, девять или десять, но я решил остановиться на тех семи, что уже подготовил. Да и сакральное число «семь» было привлекательным. Первоначально

мои планы были гораздо более обширными, но потом я увидел, что и в таком объеме и при таком подходе книга представляет собой нечто более или менее завершенное и целостное. Кроме того, и времени было не так много, и сейчас у меня такое ощущение, что если бы тогда, в 1994 году, я не приказал бы себе остановиться, то я писал бы ее и сегодня. Поэтому я и указал в предисловии, что это «избранные страницы» истории социологической мысли, на которых, впрочем, осуществляется попытка представить на нее определенную и, по возможности, последовательную точку зрения.

Впрочем, вопрос о том, почему в той или иной книге по истории социологии нет того или иного классика или какого-то направления, можно задавать всегда, и думаю, что далеко не всегда автор сможет или захочет дать на него убедительный ответ. Например, в известной книге Реймона Арона «Этапы развития социологической мысли» [3], основанной на его лекциях в Сорбонне, нет главы о Спенсере. Конечно, можно объяснить отсутствие этой главы нелюбовью автора к позитивизму; но ведь «позитивист» Дюркгейм в его книге представлен, хотя Арон относился к нему весьма критически.

В чем ты видишь особенность своего подхода к истории социологии или ее изложению?

Чтобы не повторяться, я могу лишь сослаться на «Семь лекций», особенно на маленькое предисловие «От автора» и лекцию первую. Кроме того, об этом речь идет в уже упоминавшемся небольшом тексте из журнала «Социологические исследования», озаглавленном «История социологии и история социальной мысли. Общее и особенное» и вошедшем в мою книгу «Классическое и современное», а также в предисловии к этой последней книге. В этих текстах, как мне кажется, содержится достаточно лапидарный ответ на твой вопрос. Здесь же ограничусь лишь тем, что отмечу некоторые существенные моменты.

Очевидно, что наше представление о том, что есть или какой должна быть история социологии, теснейшим образом связано с тем, как мы понимаем собственно социологию. Последнее позволяет нам, в частности, очертить пространственные и временные границы этой дисциплины, определить, что и при каких условиях относится к ней, а что нет. Самое главное, такое понимание содержит в себе некий образец, или эталон, «подлинной», «настоящей» социологии, а это влияет на нашу трактовку того, что достойно войти в ее историю.

Я выделяю четыре группы критериев социологического знания. Это критерии онтологические, эпистемологические, этические и институционально-организационные. Если говорить коротко и упрощенно, то цель истории социологии состоит в исследовании всего того, что так или иначе соответствовало данным критериям. Это позволяет нам надеяться, что мы имеем дело с историей именно социологии, а не чего-то иного. Но здесь есть одна серьезная опасность. Она состоит в том, что если отмеченный эталон слишком узок, жесток и однозначен, если он совпадает с одной определенной теорией или даже парадигмой, которые представляются историку социологии единственно верными, то мы рискуем получить от него не историко-социологическое исследование, не картину истории социологии, а проекцию на эту историю лишь одной теории или парадигмы. Иначе говоря, вместо истории социологии мы в лучшем случае получим только ее часть, совершая логическую ошибку *pars pro toto*, принимая часть за целое.

Учитывая сказанное, я хочу подчеркнуть, что выделяемые мной критерии достаточно широки и универсальны, чтобы подобная ошибка не совершалась. Кроме того, необходимо иметь в виду, что на социологию нередко оказывают влияние, причем значительное, несоциологические теории. Это относится не только к отдаленному прошлому, когда социология еще не выделилась в самостоятельную дисциплину, но и к

сегодняшнему дню. Например, такие влиятельные в современной социологии фигуры, как Мишель Фуко или Жан Бодрийяр, строго говоря, социологами не являлись и сами себя таковыми не считали. Но это не мешает им оказывать огромное воздействие на развитие социологического знания. Более того, даже противники социологии как таковой, считавшие ее несостоятельной в принципе, оказывали и оказывают на нее существенное влияние. Достаточно снова вспомнить в этой связи Вильгельма Дильтея. Очевидно, что такого рода «несоциологи» или «антисоциологи», оказавшие на социологию большое влияние, всегда привлекали и будут привлекать пристальное внимание историков социологической мысли.

Пользуясь случаем, хочу высказать свое мнение по поводу трактовки социологии как «мультипарадигмальной», или «полипарадигмальной» науки. Эту точку зрения отстаивают Джордж Ритцер и Владимир Александрович Ядов. Преимущество ее очевидно: она антидогматична. Это особенно важно в наших условиях, где на протяжении многих лет вдалбливалось «единственно верное учение» и где и сегодня желающих утвердить другое «единственно верное» более чем достаточно. Проблема, однако, в том, что «мульти- (поли)парадигмальный» подход лишает смысла само понятие парадигмы и ее использование. В данном случае, видимо, незаметно для самих приверженцев данного подхода произошла подмена понятия парадигмы понятием теоретического направления (течения, ориентации или школы). Да, социология – это наука, в которой, при нормальном ее развитии, существует определенное множество направлений (течений и т.п.). Но парадигм, если иметь в виду тот смысл термина «парадигма», который ему придал Томас Кун (а другой смысл не имеет смысла, извините за каламбур), много быть не может по определению. В каждый данный момент их может быть одна, две, но никак не «мульти» и не «поли». Если же их (как будто) появилось много, то это означает, что нет ни одной: это ситуация парадигмального вакуума. Если же речь идет о применении «мульти- (поли)парадигмального» подхода в одном, отдельно взятом исследовании, то трудно представить, как это реально возможно. В данном случае, по-видимому, подобный подход можно рассматривать просто как предложение взглянуть на предмет исследования с различных сторон, с различных точек зрения. Но тогда понятие парадигмы оказывается совершенно неуместным. Трактовка парадигмы как понятия «безбрежного», на мой взгляд, его девальвирует и мешает его действительно плодотворному использованию в социологии.

Интересуется ли молодежь историей социологии или просто изучает, чтобы сдать?

Я бы добавил к этому еще один, третий вариант: «или стремится сдать, не изучая?» На этот тройственный вопрос у меня также нет однозначного ответа. В массе своей молодежь, как и взрослые, сегодня лучше знает историю социологии, знает многие имена и теории, о которых раньше и слыхом не слыхивали. Но часто это знание очень поверхностное. Даже аспиранты нередко в своих диссертациях просто приводят джентльменский набор из имен классиков (Дюркгейм, Вебер, Зиммель, Сорокин и т.д.) или модных авторов (Хабермас, Бурдьё, Бодрийяр, Гидденс и т.д.), совершенно не понимая, о чем речь, исполняя своего рода ритуал, и пишут банальнейшие вещи, ссылаясь на эти авторитеты. Например, приходится в кандидатских диссертациях по проблематике потребления встречать такое дежурное утверждение: «Французский социолог Бодрийяр (Бурдьё и т.п.) доказал, что потребление бытовых вещей выполняет не только утилитарные, но и символические, статусные и прочие функции». А то мы раньше этого не знали! Такого рода дежурно-ритуальная «история социологии» у молодежи, как, впрочем, и у взрослых, встречается довольно часто. В целом же мой ответ будет, может быть, не очень определенным, зато, вероятно, верным: одна часть молодежи изучает историю социологии с подлинным интересом и знает ее гораздо лучше, чем студенты в мое время; другая часть – «изучает просто, чтобы сдать»; третья

часть — стремится сдать ее, не изучая. Что касается количественного соотношения этих частей, то здесь я не могу сказать ничего определенного; по-моему, оно меняется от года к году и от одного университета к другому, и никаких закономерностей здесь, по-моему, пока уловить невозможно.

Отмечу также, что интерес к чисто академическим занятиям у молодежи, а история социологии очевидным образом относится именно к такого рода занятиям, вообще, как мне кажется, снизился в последние полтора десятилетия. Современные молодые люди больше ориентированы на те или иные формы практической и утилитарной деятельности. Не хочу оценивать это явление в целом как положительное или отрицательное. Может быть, это и хорошо; возможно, как раз утилитаризма, трезвого, разумного и не шкурного, нам недоставало в прошлом и недостает теперь. Но в то же время, в нашем обществе в целом, не только у молодежи, наблюдается, на мой взгляд, то, что можно назвать детской болезнью утилитаризма и его имитацией. И я иногда сталкиваюсь с наивно-утилитаристским отношением к знанию как таковому, своего рода боязнью узнать что-то лишнее, что в дальнейшем может не пригодиться в «реальной», «практической» жизни. Правда, обычно такое встречается у слабых студентов. Приходится доказывать, что невежество и отсутствие теоретической подготовки совсем не означают будущих успехов на практическом поприще.

История социологии — дисциплина книжная. Нередко сегодня, когда говоришь студенту, что нужно прочитать какую-то книгу или статью, следуют два вопроса: а) есть ли это в Интернете; б) где это можно купить? Если выясняется, что нужной публикации нет ни в Интернете, ни в магазине и надо идти в библиотеку, то это — нечто экстраординарное и ужасное. Библиотека иногда воспринимается как галеры. И дело здесь, разумеется, не в занятости: ведь библиотека — как раз то место, где занятия в значительной мере (по идее) и должны происходить. Понятно, что Интернет сегодня конкурирует с библиотекой и в определенной степени заменяет ее. Но вытеснить ее он (пока, во всяком случае) не может. К тому же в Интернете очень уж много мусора, сквозь который бывает трудно пробраться к серьезным трудам. В общем, можно сказать, что сегодня отношение студентов к истории социологии служит достаточно надежным индикатором отношения к библиотеке. Кто любит первую, любит и последнюю.

Эмиль Дюркгейм

Ты уже многие годы занимаешься исследованием творчества Дюркгейма, издал множество работ по этой теме. Кто заинтересовал тебя Дюркгеймом? Или почему ты увлекся его социологией?

Я, действительно, многие годы изучал творчество Дюркгейма и написал о нем ряд работ. Из-за этого некоторые думают, что я вообще всю жизнь только им и занимаюсь. Я перевел на русский язык ряд его текстов с комментариями и послесловиями. И очень доволен, в частности, тем, что мне удалось обнаружить три ошибки в оригинальных французских изданиях Дюркгейма, указав на них в комментариях. Так что в русских изданиях этих ошибок нет, тогда как во французских они воспроизводятся, если только их не ликвидировали в самое последнее время (я говорил о них французским коллегам, специалистам по Дюркгейму). Хочу отметить, что очень люблю переводить классиков, выдающихся представителей социологической и социальной мысли, и отношусь к переводимым текстам как к своим собственным, в том смысле, что дорожу ими не меньше. Переводить подобные труды — большое наслаждение: ты как будто проникаешь в мышление автора и паришь в тех же интеллектуальных высотах, что и он. К тому же это прекрасная школа мыслительного мастерства.

О Дюркгейме я впервые услышал от моего учителя Игоря Семеновича Кона; он же рекомендовал мне заняться изучением его творчества. Я учился тогда на 4-м

курсе истфака ЛГПИ им. А.И. Герцена и с самого начала учебы интересовался философией истории и социологией. Очень живо представляю себе сегодня время и место этого разговора с Игорем Семеновичем. После этого я стал внимательно изучать труды Дюркгейма и о нем. Затем – дипломная работа о его социологии религии и кандидатская диссертация – о его школе под названием «Французский “социологизм” и его эволюция. Историко-критический анализ». Как мне представляется теперь, ретроспективно, в Дюркгейме меня привлекали сциентизм, строгая научность, а также его социальные идеалы, социальный реформизм, основанный опять-таки на науке, и многое другое. Хотя, учась у Дюркгейма и будучи специалистом по его творчеству, я не считал и не считаю себя дюркгеймианцем.

Меня интересует личное и внеличное в судьбе именно теоретика социологии. Что можно сказать про Дюркгейма: почему его социальная философия такова, а не иная?

Относительно социальных и личных предпосылок и импульсов социологии Дюркгейма уже написано очень много, и не хотелось бы говорить об этих серьезных вещах вскользь, мимоходом. Сошлюсь опять-таки на свои тексты, посвященные ответам на поставленные вопросы: это послесловия к изданным мной книгам Дюркгейма «О разделении общественного труда. Метод социологии» и «Социология. Ее предмет, метод, предназначение» [4], а также одна из «Семи лекций», посвященная его творчеству.

Понимали ли Дюркгейма современники? Что они не принимали? Что наиболее высоко оценивали?

Ответить на этот вопрос не просто, просто потому, что не просто само понятие «современники» (извини за еще один каламбур). Кажется, у Анатоля Франса я когда-то прочитал об одном человеке, которому совершенно нечего было о себе сказать, поэтому он написал о себе в визитной карточке: «Современник».

Понимали ли Дюркгейма современники? Да, понимали. Но по-разному. Кто-то что-то принимал, а что-то не принимал, кто-то нечто оценивал высоко, а кто-то именно это – низко. С одной стороны, Дюркгейм основал знаменитую школу, к которой принадлежали или из которой вышли многие выдающиеся социальные ученые. С другой стороны, ему и его школе во Франции противостояли другие школы, направления и «индивидуальные» социологи: Тард и прочие «психологисты», «биологисты», школа «социальной науки» и школа «социальной реформы», основанные Фредериком Ле Пле, «католические социологи», марксисты и т.д.

Было ли все-таки что-то, что объединяло Дюркгейма если не с «современниками» как таковыми, то с чем-то вроде «духа эпохи», был ли он его выразителем? Думаю, что да, и этим объясняется популярность и доминирующее положение его социологии и представителей его школы в академических и университетских структурах в Третьей республике начала XX в. В своей кандидатской диссертации и в работе «Дюркгеймовская социологическая школа» (1979) я выделил три идеологических символа, или принципа, которые отстаивали Дюркгейм и его сторонники и которые составляли ценностное ядро его социологии. Это сциентизм, солидаризм и антиклерикализм. Эти же принципы, в утверждение которых Дюркгейм внес существенный вклад, были ключевыми, доминирующими в Третьей республике. Данное обстоятельство в определенной мере объясняет успех дюркгеймовской социологии во Франции того времени [5]. Эти же ценности не вызывали симпатии у других его «современников»: монархистов, клерикалов, нацистов, левых радикалов и т.п. Во Франции начала XX века этим последним силам не удалось одержать верх. Но отношение к дюркгеймовским воззрениям, которые сочетали в себе черты либерализма, умеренного консерватизма и реформистского социализма, у них было однозначно негативным.

После Второй мировой войны авторитет дюркгеймовской социологии во Франции падает. И только впоследствии он снова растет, в частности, благодаря интересу к ней за пределами Франции: в США, Великобритании и других странах. Да, нет пророка в своем отечестве!

Кстати, вообще, вероятно, большинство самых основательных, фундаментальных монографий о творчестве Дюркгейма и его школы (о сборниках статей не говорю) выполнены и опубликованы не во Франции. Вот примеры, взятые наугад: Т. Parsons. *The structure of social action* (1937, США); Н. Alpert. *Emile Durkheim and his sociology* (1939, США); S. Lukes. *Emile Durkheim. His life and work* 1972, Великобритания); Т. Clark. *Prophets and patrons* (1972, США); W. Pickering. *Durkheim's sociology of religion* (1984, Великобритания); M. Fournier. *Marcel Mauss* (1994, Канада, хотя и издано во Франции) и т.д.

В американских учебниках Дюркгейм, Вебер и Маркс – «три источника, три составные части» современной социологии. Что в последние годы делается с дюркгеймианой? Дюркгейма сразу признали в России?

При жизни Дюркгейма, в России, как и в США, его не считали первостепенной фигурой, например, в сравнении с Тардом. Его воспринимали как серьезного, добросовестного социолога, стремящегося основывать свои выводы на фактических данных, но не очень оригинального, уступающего в отношении оригинальности мышления Тарду или Зиммелю. Но впоследствии оценки изменились, что, впрочем, постоянно случается с творчеством классиков; это вполне нормально и служит одним из показателей развития науки.

Дюркгейм не был одинок в ряде пунктов своей научной программы, что и проявилось в большом числе приверженцев, вошедших в его школу. У него, конечно же, были и предшественники, и последователи, и единомышленники. Даже с Максом Вебером, чья научная программа была явно противоположной дюркгеймовской, у него было гораздо больше общего, чем казалось им обоим; это особенно хорошо видно сегодня [6].

Твоя книжка «Эмиль Дюркгейм в России» посвящена не столько ему, сколько анализу рецепции его творчества в России, что мне представляется чрезвычайно важным для понимания российской социальной мысли и социальной действительности рубежа XIX – XX вв. Эта небольшая работа находится на стыке таких дисциплин, как история социологии и социология социологического познания (или социология социологии), хотя позиция последней дисциплины реализована, по-видимому, недостаточно и можно было реализовать ее гораздо полнее.

Я уже отмечал сомнения современников Дюркгейма в оригинальности его идей. Максим Максимович Ковалевский, указывая на определенные достижения Дюркгейма, писал, что, в сущности, он воспроизводит идеи Зиммеля. Были и споры по поводу приоритета. Евгений Валентинович Де-Роберти подчеркивал, что его собственные идеи предшествовали дюркгеймовским, но научное сообщество этого не признало. На мой взгляд, приоритет Де-Роберти сомнителен, хотя в некоторых высказываниях (не в теориях и исследованиях) можно обнаружить известную близость отдельных формулировок у него и у Дюркгейма: речь идет о суждениях, обосновывающих социально-реалистическую точку зрения о том, что общество – это особая реальность, не сводимая к реальности индивидов. Но с еще большим основанием можно указать в таком случае на другого предшественника французского социолога в данном отношении, а именно, Вундта, у которого мы находим характерный для Дюркгейма способ доказательства специфики социальной реальности по отношению к индивидуальной.

Главное в теме «Советский и постсоветский Дюркгейм», которой я посвятил последнюю главу в книжке «Дюркгейм в России» и статью в основанном Дюркгеймом журнале [7], наряду с характеристикой эволюции восприятия Дюркгейма в России после 1917 г. до конца XX в., – это, как мне кажется, краткое рассмотрение десяти функций специфического и институционализированного в Советском Союзе жанра, получившего название «критика буржуазной идеологии» и существовавшего, в частности, в социологии.

Что делается с дюркгеймианой в последние годы?

У нас последние годы издавались и переиздавались труды Дюркгейма, труды о нем, а также его последователей: Марселя Мосса (сборник его работ, озаглавленный мной «Общества. Обмен. Личность», я делал в общей сложности 14 лет и с божьей помощью издал в 1996 г.; так что начинался Мосс как советский, а завершился как постсоветский) и Мориса Хальбвакса [8, 9]. Несколько лет назад вышел сборник трудов Мосса, посвященных религиозной проблематике. Недавно опубликован у нас классический труд участника школы Дюркгейма сиолога Марселя Гране «Китайская мысль» [10].

Хотя три из четырех главных трудов Дюркгейма впервые за пределами Франции вышли в России, последний и главный его труд «Элементарные формы религиозной жизни» (1912) у нас не издан до сих пор, если не считать фрагментов, переведенных Питиримом Сорокиным до революции 1917 г. и мной после революции 1991 г. Почему? Помимо серьезной квалификации, перевод этой книги требует больших затрат труда и времени. Мне поступали предложения от некоторых издательств, но без оплаты делать эту работу я не мог (предлагавшиеся ими «гонорары» не в счет), хотя раньше подобную работу делал практически бесплатно (видимо, потому что здоровья, сил и времени было побольше). Один раз я уже даже заключил договор (предполагался более или менее реальный грант на перевод), но эта попытка не удалась. Потом пошли другие планы, проекты и большие преподавательские нагрузки. Так что пока лично я не планирую этой работы, хотя мечтаю (правда, наверное, в моем возрасте мечтать уже неприлично) когда-нибудь это сделать. А может быть, найдется молодой квалифицированный социолог или этнолог, знающий французский, который осуществит это. Главное, чтобы не было халтуры, которой, к сожалению, больше, чем бы хотелось.

Что касается зарубежной дюркгеймианы, то в последние годы во Франции труды Дюркгейма и его последователей регулярно публикуются, главным образом в парижском издательстве «Minuit», в серии «Quadrige». Состоялся ряд конференций и симпозиумов, посвященных творчеству Дюркгейма и Мосса, в частности в Париже, Бордо и Оксфорде; в некоторых из них я принял участие. По их результатам вышли сборники статей, в том числе «Durkheim d'un siècle à l'autre» (Paris: Presses Universitaires de France, 1997), «Marcel Mauss. A centenary tribute» (New York; Oxford: Berghahn Books, 1998), «Durkheim's Suicide: A century of research and debate» (London and New York: Routledge, 2000). После этого появился еще ряд трудов по дюркгеймовской тематике, в том числе и в самое последнее время. Буквально вчера, 12 марта 2007 г., получил от моего друга из Оксфорда, прекрасного человека и крупного специалиста по Дюркгейму, Билла Пиккеринга новую книгу о классике, «Защита дюркгеймовской традиции. Религия, эмоция и мораль» Джонатана Фиша (Fish J. S. *Defending the Durkheimian Tradition. Religion, Emotion and Morality*. Aldershot, 2005). В Оксфорде существует Центр дюркгеймовских исследований, созданный благодаря усилиям того же Пиккеринга. Центр издает ежегодник «Durkheimian Studies / Etudes durkheimiennes»; я являюсь членом редколлегии и иногда кое-что в нем печатаю. Характерная черта всей этой дюркгеймианы – сочетание уважительного и аналитико-критического отношения к творчеству Дюркгейма. По-моему, это правильно: в науке, как и везде,

а может быть, более чем везде, максима «Не сотвори себе кумира» имеет важнейшее значение. Особенно для России.

Методология истории социологии

Саша, мне кажется, что настоящая история науки (социологии) — это трансформация прошлых построений, достижений, выводов на язык современной науки. Если трансформировать нечего, то это учение в прошлом. Так ли это?

Думаю, что первая часть твоего тезиса относится не к истории науки, а к науке как таковой. В самом деле, занятие наукой, как и искусством — это творчество (к сожалению, в наш технизированный век об этом слишком часто забывают), и в этом смысле оно — «трансформация прошлых достижений...». Как говорил Гейне (эти слова вполне относятся и к научному творчеству): «Первый человек, который сравнил женщину с цветком, был великим поэтом. Второй, кто это сделал, был обыкновенным болваном». Но если мы сталкиваемся с подобной «трансформацией» в такой дисциплине, как история социологии, и, шире, науки, еще шире, любой истории, то это будет уже нечто иное. Это нечто будет тем, что можно назвать «под видом истории». И верить такому знанию в качестве исторического я бы поостерегся. В этом случае (я не говорю о таких «трансформациях», как обычные фальсификации истории в угоду сиюминутным интересам и устремлениям, пусть даже самым благородным, с точки зрения фальсификаторов) мы будем иметь дело не с историей науки, а с проекцией одной теории, «современной», на историю этой науки. Отчасти я касался этой темы выше.

Другое дело, что разные эпохи по-разному «прочитывают» определенные достижения прошлого, интерпретируя те или иные из них под углом зрения последующего развития. История науки — это ее коллективная память, и коллективная амнезия, утрата этой памяти, ее расстройство («трансформация») в данном случае означали бы, что наука должна была бы каждый раз начинать заново или откуда-то не отсюда. Более того, мы даже не могли бы отличить новое от старого, уже достигнутого, и постоянно ломались бы в открытую дверь, что и случается нередко с учеными, не знающими историю своей науки. История науки, особенно гуманитарной, как прожектор, высвечивает в ее прошлом то одно, то другое, так что казалось бы навсегда похороненные идеи оживают вновь.

Возьмем, например, творчество Герберта Спенсера, которое часто интерпретируется, на мой взгляд, искаженно как его сторонниками, так и его противниками. Кстати, я думаю, что Дюркгейм был обязан ему гораздо больше, чем сам признавал. Судьба научного творчества Спенсера была драматичной. На рубеже XIX — XX веков он был самым известным и влиятельным социологом в мире. В 1902 г., на второй год присуждения Нобелевских премий, он был выдвинут на соискание этой премии по литературе. Правда, он ее не получил (в том году она была присуждена выдающемуся историку Теодору Моммзену). Но и сам факт выдвижения имеет значение; ведь с тех пор, насколько я знаю, никого больше из социологов на соискание Нобелевской премии не выдвигали. Наступили 1920–1930-е годы, и Спенсера в социологическом сообществе стали воспринимать как интеллектуальный анахронизм. Толкотт Парсонс в 1937 году задавал риторический вопрос: «Кто нынче читает Спенсера?» — и констатировал: «Спенсер мертв». Но вот пришли 1950–1960-е годы, и выяснилось, что он жив: в связи с возникновением неозволюционизма в социологии его идеи снова вошли в актуальное научное обращение. Я не хочу сказать, что «Спенсер и теперь живет всех живых» (перефразируя известные слова Маяковского о Ленине), однако полагаю, что его научное наследие и сегодня продолжает быть актуальным во многих отношениях. Спенсер — не только

иллюстрация превратности судеб социологических идей, но и демонстрация того, что история социологии имеет огромное эвристическое значение и служит средством получения нового знания.

Признаюсь, мне не совсем ясно в той или иной мере часть своего тезиса: «Если трансформировать нечего, то это учение — все в прошлом». Вообще, трансформировать можно все. По-моему, если мы признаем нечто ценным в истории науки, то это автоматически означает, что мы собираемся с этим что-то делать, как-то это использовать, в том числе и трансформировать, а также: изучать, воспроизводить, применять, развивать, преодолевать, дополнять, подтверждать, опровергать и т.д. Если не признаем, то мы ничего этого не делаем. Но то, что нам сегодня представляется не имеющим ценности, завтра может оказаться интересным и перспективным. Для этого, в частности, и нужна история науки.

Что наиболее современно в творчестве, выводах Дюркгейма?

Участь всякого классика в науке состоит в том, чтобы быть критикуемым, опровергаемым и преодолеваемым. Это относится и к Дюркгейму. Как говорил Макс Вебер, научная работа неизбежно предполагает, что сделанное сегодня обязательно устареет в более или менее обозримом будущем. Но, рискну я добавить, устареет не обязательно навсегда. Сегодня Дюркгейм как «нормальный» классик «нормальной» науки, разумеется, во многом устарел, и многие теоретики и специалисты в разных областях социологии заняты как раз тем, что это доказывают. Но это же означает, что он жив, и его творчество продолжает привлекать к себе внимание исследователей.

Дюркгейм делал акцент на нормативной стороне социальных систем, рассматривая социальные нормы как нечто уже сформировавшееся и автономное по отношению к создающим и воссоздающим их социальным действиям индивидов. Его интересовало главным образом то, как социальные нормы, ценности, институты, организации влияют на индивидов, формируют их. Современная социология, прежде всего теоретическая, больше озабочена решением противоположной проблемы: как вывести нормы, ценности, институты из порождающих их действий индивидов и объяснить их этими действиями. На мой взгляд, невозможно утверждать, что один подход правильный, а другой нет: они друг друга дополняют. Отчасти я касаюсь этой темы в статье «Существует ли общество?», опубликованной в журнале «Социс» в 2005 г. [11].

Само понятие общества, находившееся в центре внимания Дюркгейма, по-моему, в высшей степени актуально и в социологическом, и в социально-практическом аспектах. Здесь моя точка зрения расходится с позицией некоторых зарубежных коллег, таких, как Ален Турен или Джон Урри. Особенно важной эта категория мне представляется для России, где раньше ее пытались подменить понятием класса, а сегодня — понятием этноса. Прежняя подмена сыграла печальную роль в прошлом страны, последняя может сыграть такую же роль в настоящем и будущем. Пока мы не осознаем, что Россия — это прежде всего общество людей, граждан, создававших и создающих ее, очень разных (что очень хорошо), но при этом объединенных общими традициями, ценностями, идеалами, достижениями и утратами, языком и т.д., у нас ничего не получится.

Большое значение сегодня имеет идея социальной солидарности, которая играет ключевую роль в дюркгеймовской социологии и вместе с тем — в истории российской социологии. Эта идея также чрезвычайно важна и для социологии и для общества, особенно современного российского.

На мой взгляд, сегодня актуальной и перспективной является такая отрасль, как социология морали, которую начинал разрабатывать Дюркгейм. С его точки зрения, прочностью, устойчивостью и длительностью обладают только те социальные

явления, которые имеют серьезное нравственное основание. На актуальное значение социологии морали Дюркгейма в последнее время справедливо, по-моему, указал Ганс Йоас.

Ответить же кратко на вопрос о том, что в целом наиболее современно в творчестве Дюркгейма, я, признаюсь, не готов: опасаясь вульгаризованного или упрощенного ответа. Мне кажется, вопрос этот слишком серьезен, чтобы можно было ответить на него в двух словах. Во всяком случае, сейчас я этого сделать не могу. Может быть, когда-нибудь смогу или, наоборот, отвечу пространной статьей или книгой.

Какое место занимают научные биографии ученых в анализе их творчества? В частности, в какой мере творчество Дюркгейма обусловлено особенностями его ранней социализации, влиянием на него его семьи, ближайшего окружения?

Очевидно, в анализе творчества социальных и гуманитарных ученых их место более значительно, чем в изучении исследований представителей естественных наук. Известны прекрасные образцы трудов такого рода, например, труды Митцмана или Бендикса о Максе Вебере, Стивена Люкса о Дюркгейме или Марселя Фурнье о Марселе Моссе. Существуют при этом разные типы историко-социологического исследования. Иногда важна логика развития социологического знания сама по себе, независимо от того, каковы личные или социальные обстоятельства этого развития. Но абстрагироваться от этих обстоятельств — значит, зачастую, лишать себя возможности по-настоящему и глубоко понимать движение социологической мысли.

Безусловно, творчество Дюркгейма, как и любого классика, в огромной мере связано и с особенностями его социализации в детстве и юности, и с влиянием его семьи и вообще социальной микросреды. Здесь можно вспомнить и религиозное воспитание в раннем детстве (в его роду было восемь поколений раввинов, включая отца, возглавлявшего иудейскую общину в Вогезах), и отказ от традиционных занятий и религии предков, и дружбу с Жаном Жоресом во время учебы в Высшей Нормальной школе и т.д. Обо всем этом написано достаточно много. Замечу однако, что ряд факторов, которые мы воспринимаем как влияния микросреды, в свою очередь были результатом воздействия социальной макросреды.

Когда ты анализируешь те или иные положения философии Дюркгейма, есть ли между вами мысленный диалог?

Да, подобный диалог у меня существует. И не только с Дюркгеймом, но и с Монтеスキе, Моссом, Бергсоном и другими мыслителями, которыми мне приходилось заниматься. И не только тогда, когда я анализировал их воззрения, но и спустя многие годы. Мне кажется, что в каком-то смысле этот диалог носит постоянный характер. Я очень люблю посещать места, связанные с их жизнью, их могилы: в это время я испытываю настоящий священный трепет. Такого рода чувства я испытывал на могилах Конта на кладбище Пер-Лашез, Дюркгейма и Сартра на кладбище Монпарнас, в замке Ла Бред Монтеские под Бордо, у дома, где жил Бергсон на бульваре Мажента в Париже и т.д. В эти моменты мой диалог, видимо, становится не только мысленным, но и лично-эмоциональным. Эти люди и эти места превращаются в элементы моего собственного Я, и диалог становится в каком-то смысле диалогом не только с ними, но и с самим собой. Впрочем, нечто подобное я испытывал когда-то на могиле Пушкина в Святогорском монастыре, Шекспира в Стратфорде-на-Эйвоне, в позапрошлом году — в Иерусалиме, на Галилейском озере и в Назарете, а прошлым летом — в Пятигорске, в лермонтовских местах.

Немного изменю направление нашего разговора. Что можно сказать о российской

истории социологии, в том числе мировой, советского и постсоветского периодов?

О советской истории социологии могу сказать, что ее высокие образцы в 1960–1970-е годы, на мой взгляд, содержались, прежде всего, в трудах моего учителя и научного руководителя в аспирантуре Игоря Семеновича Кона. Несмотря на сильное идеологическое давление «нерушимого блока коммунистов и беспартийных», неизменно и уверенно побеждавшего на всех выборах, ему удавалось поддерживать высокие стандарты профессионализма и научной этики в истории социологии да и в социологии в целом (наряду с некоторыми другими социологами). Конечно, неизбежное присутствие идеологических штампов «единственно верного учения» не могло не сказаться на качестве его трудов, но профессиональный уровень все равно был высоким, и для меня лично, в частности, они служили эталоном. Я имею в виду, например, такие его работы, как «Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли» (1959), «Позитивизм в социологии» (1964) и некоторые другие. Конечно, сегодня можно иронизировать над его книгами тех лет, и слава Богу. Но уровень многих нынешних книг в этой области ниже, и это грустно. В 1979 г. под редакцией И.С. Кона вышла книга «История буржуазной социологии XIX – начала XX в.» (М.: Наука, 1979), в написании которой, наряду с другими специалистами, посчастливилось участвовать и мне. Несмотря на все очевидные трудности ее создания и неизбежные штампы, о которых я упомянул, книга получилась действительно хорошей. Свидетельством тому служит, в частности, тот факт, что на протяжении многих лет и вплоть до настоящего времени из нее продолжают заимствовать прямо и косвенно, ссылаясь иногда для приличия, а иногда и не ссылаясь. В 1989 г. эта книга с небольшими изменениями была издана в московском издательстве «Прогресс» на английском и, кажется, еще на каких-то европейских языках под названием «История классической социологии» [12]. Как-то в Москве я разговорился с одним французским социологом, и он, упомянув об этой книге, на которую случайно наткнулся во Франции, долго и с большим энтузиазмом расхваливал ее научные и дидактические достоинства. И это о книге, созданной в труднейших советских условиях.

О постсоветской истории социологии замечу, что, несмотря на большое количество мусора и плагиата, она все же развивается. Появляются интересные работы. С надеждой смотрю на молодежь. Правда, пока развитие происходит, как мне кажется, больше «вширь». Хотелось бы, чтобы это сопровождалось более интенсивным развитием «вглубь».

Изучение истории советской социологии еще только начинается, и мне трудно пока сделать какие-то выводы по этому поводу. Что касается истории русской социологии в целом, то здесь в последние годы многое сделано, но и предстоит сделать еще очень много. О некоторых особенностях русской социологии и социальной мысли рубежа XIX – XX вв. я написал в книжке «Эмиль Дюркгейм в России» (прежде всего, в главе б). Я имею в виду такие ее черты, как высокая степень политической и нравственно-практической ангажированности; большое значение иррационалистических тенденций; подчиненность социально-научного знания беллетристике и литературно-публицистической эссеистике; относительно невысокая степень признания автономии и ценности научного знания по отношению к другим формам знания, к «жизни»; преобладание «субъективного» метода над «объективным». Это не значит, что не было иных тенденций. Но они не были преобладающими.

Социология моды

Саша, историей социологии хоть и не очень многие, но занимаются. А вот социология моды, мне кажется, – это что-то экзотическое для России. Для меня было приятной неожиданностью прочесть в одном из выпусков популярного «Огонька» интервью с тобой,

в котором ты был представлен как «самый модный российский профессор, преподаватель отделения менеджмента и теории моды МГУ» [13]. Могу я попросить тебя кратко остановиться и на этом направлении твоих исследований?

О самом предмете опять коротко говорить трудно именно вследствие того, что я занимаюсь им много лет. Поэтому снова отсылаю к своим работам, специально ему посвященным, прежде всего, конечно, к книге «Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения». [14]. Среди прочих работ по этой проблематике я опубликовал в 2004 г. статью под названием «Вечные возвращения. Заметки о модных циклах» в специальном номере «Европейского журнала социальных наук» [15], посвященном памяти моего французского друга, социолога Филиппа Бенара (Besnard), который был прекрасным человеком и социологом и, помимо прочего, занимался проблематикой моды, в частности, модой на имена, даваемые родителями новорожденным. В последнем случае я начал осуществлять свою давнюю мечту: объяснить французам, что такое мода. Таким образом, думал я, будет осуществляться своего рода разделение труда: французы будут делать моду, а я буду объяснять им, что они делают (шутка).

Ну а если серьезно, то интерес к моде как одной из форм социальной регуляции и саморегуляции поведения у меня давний и устойчивый. Он начался с того, что я заинтересовался таким антиподом моды, как обычай, и опубликовал несколько работ на эту тему. Помню, мне в 1969 или 1970 году об одном московском социологе сказали, что он исследует проблемы моды, и я очень удивился тому, что можно заниматься столь мелкими, незначительными вещами. Сам-то я в это время изучал творчество Дюркгейма и считал, что только такого ранга объект достоин моего профессионального интереса. Но затем я понял, что ошибался. Не случайно многие классики социологии считали своим долгом обращаться к проблематике моды. Впоследствии я много лет работал во ВНИИ технической эстетики, где занимался социологией индустриального дизайна и массового потребления, непосредственно участвуя в исследованиях, разработках и проектировании бытовых вещей. И все эти годы я осуществлял свой собственный проект: разрабатывал теорию моды. Конечно, она носит междисциплинарный характер: здесь и семиотика, и теория культуры и т.п., но прежде всего я рассматривал ее как объект социологии и социальной психологии.

Одной из главных трудностей в изучении моды является, на мой взгляд, идентификация объекта исследования, так как за моду часто принимают нечто иное и наоборот, сама она оказывается вне поля зрения исследователя. Еще одна проблема, особенно острая в данном случае, — это постоянное и часто неосознанное вторжение обыденного знания в научное тогда, когда желательно от него несколько дистанцироваться. Рассматривая моду как процесс постоянный, я разработал теоретическую модель этого явления и далее уже анализировал его, опираясь на эту модель и стараясь не «соскочить» на другое явление. В связи с этим я стремился избежать распространенной семиотической ошибки, совершаемой даже серьезными аналитиками моды. Речь идет о том, что модные значения неосознанно помещаются внутрь самих знаковых носителей этих значений, того, что я называю модными объектами, чаще всего — одежды. Но модные значения, собственно «модность», в одежде не содержатся, так же как опасность сама по себе не содержится в предупреждающем дорожном знаке, предупреждающем об опасности, если только этот знак не сорвать и не использовать как холодное оружие, не ударить им и т.п. Модные значения коренятся в определенных ценностях, приписываемых участниками моды определенным способам поведения, культурным образцам («модным стандартам»), выступающим в качестве их знаков. В каких ценностях? Как и почему происходит смена «мод»? Что такое мода по существу? Что такое не-мода или анти-мода? На эти и другие вопросы я попытался ответить в приведенных выше и других работах. Книга о моде, которая является моей докторской диссертацией, защищенной в 1995 г. в

Институте социологии РАН, читается, на мой взгляд, легко; я специально работал над этим, разъясняя используемые термины и приводя множество примеров.

Тем не менее, я столкнулся с двумя забавными случаями жалобы на ее непонятность и недостаточную доступность. Когда вышло первое издание книги, я подарил ее одному приятелю, жена которого работала директором магазина одежды. Когда мы с ним встретились на следующий день, он мне сказал: «Ты знаешь, книга у тебя какая-то странная, жена сегодня ночью читала-читала, ничего не поняла». Я понял тогда, что она надеялась найти в этой книжке советы и рекомендации, способствующие продаже одежды. И это при том, что я предупредил, что книга научная. В другой раз, после выхода второго издания книги, ко мне в бухгалтерии издательства обратилась с жалобой работница этой бухгалтерии, причем в полускандальной форме: «Что это за книгу Вы написали, ничего непонятно. Вот сестры Сорины написали, там все ясно: что носить, когда носить, где носить, как сшить». Я тогда резко ответил ей: «А Вы и не должны были понять, это книга научная». «Между прочим, я кандидат технических наук», – обиделась она. «Так ведь технических, – сказал я. – Если бы я не понял что-то в каком-нибудь сопромате, я бы воспринял это как должное и никому претензий по этому поводу предъявлять бы не стал. Почему же Вы в этом случае должны все понять легко и без всякого напряжения?». Мораль сей басни такова: можно, конечно, считать моду явлением несерьезным, но заниматься ею все равно надо серьезно.

Вообще, требования к популярности в социальных и гуманитарных науках гораздо выше, чем в естественных, что вполне понятно и естественно. Помню, что даже газетные статьи известных ученых о проблемах современной физики или химии, которые мне попадались, были непростым чтением; статьи подобного уровня сложности, написанные гуманитарием, в газете наверняка бы не напечатали. В общем, как я уже говорил, стремиться к ясности нужно. Но это не значит, что научную книгу по социологии любой обыватель, без всякой подготовки, читающий ее, лежа на диване, не напрягаясь, должен понимать. Не должен. И все это не противоречит сказанному мной выше относительно необходимости для социолога стремиться к ясности и коммуникации с «непосвященными», со средой, с обществом.

Замечу еще раз, что мода для социологии – предмет давнего и устойчивого интереса. Многие классики социально-философской и социологической мысли обращались к ее изучению и (или) высказывались о ней. Это и Энтони Шефтсбери, и Адам Смит, и Кант, и Спенсер, и Зиммель (которому иногда незаслуженно приписывают некоторые идеи Спенсера относительно моды), и Габриэль Тард, и другие. Знаменитый архитектор, дизайнер и теоретик архитектуры Вальтер Гропиус утверждал, что каждый более или менее известный, уважающий себя архитектор считал своим долгом спроектировать стул. Аналогичным образом можно сказать, что если не все, то многие классики социологии считали своим долгом создать теорию или концепцию моды. И сегодня социологи в разных странах постоянно касаются этой проблематики. Для нашей социологии сегодня это также предмет совсем не экзотический: выходит немало публикаций, защищается немало диссертаций по данной проблематике. Правда, уровень большинства работ пока невысок, немало повторений давно известных вещей под видом новых или прямого плагиата. Впрочем, и зарубежные работы о моде зачастую носят довольно поверхностный или банальный характер.

...Безусловно, социология, как и другая наука, имеет право быть элитарной, не всегда всем понятной... А какие-либо эмпирические исследования по социологии моды ты проводишь?

Мне кажется, что специальное, профессиональное, – не то же самое, что элитарное. Существуют специализированные субкультуры, в том числе

профессиональные, со своими ценностями, навыками, языком и т.п. Существует великий закон разделения труда. Как и профессор Преображенский в булгаковском «Собачьем сердце», я сторонник разделения труда (но не элитарности!). В Большом пусть поют, а социологи пусть занимаются своим делом. В этом смысле социолог, по-видимому, должен быть подобен любому профессионалу, будь то скрипач, врач, сантехник или профессиональный футболист.

Эмпирических исследований по социологии моды я не провожу. В 1970—1980-е годы, когда я работал во ВНИИ технической эстетики и разрабатывал эту проблематику, я участвовал в создании разного рода методик и проектов формирования предметной среды, сотрудничал с дизайнерами-практиками, бывал на показах мод и т.п. Но я всегда был и остаюсь, говоря словами Парсонса, «неизлечимым теоретиком», хотя и постоянно стремящимся к тесному взаимодействию с эмпириками и эмпирическим материалом. Я не разделяю точку зрения, согласно которой есть теория как нечто более или менее готовое к употреблению, а есть «исследование». Теория — это не своего рода пиджак, который исследователь-эмпирик, приступая к работе, выбирает себе по вкусу. Это тоже исследование; если речь идет о конкретном объекте, то оно заканчивается в тот же день, что и его эмпирическая часть.

Вообще мне кажется, что разделение на теоретиков и эмпириков «нормально», так же как и активное взаимодействие между ними. Здесь закон разделения труда тоже действует. Бессмысленно говорить о том, кто важнее или нужнее. История социальных (и естественных) наук, как и современность, знает примеры выдающихся исследований и исследователей, представляющих обе специальности.

В целом, проблематика моды в последние годы в моих научных интересах не находится на первом плане. У меня есть ощущение некоей выполненной работы, завершено теоретико-социологическое исследование моды. Разумеется, такого рода работа не имеет завершения; это все равно, что сказать: закончено исследование смысла жизни или счастья. И я так или иначе обращаюсь и, наверное, буду возвращаться к этой вечной теме, которая всегда будет меня интересовать. Но на сегодняшний день у меня есть вот это ощущение завершенной работы по данной проблематике, выполнить которую было моей целью. *Feci quod potui, faciant meliora potentes*. Я сделал, что мог, пусть кто может, сделает лучше.

Сейчас мое исследовательское внимание сосредоточено на проблеме соотношения социокультурных традиций и инноваций в современной России. По данной теме я руковожу исследовательским проектом и опубликовал некоторые работы, в том числе о гражданской религии в современной России и о значении в этой связи социологического мировоззрения (см. об этом, в частности: [16, 17]).

Немного собственно биографического

Саша, наконец задам тебе ряд вопросов, с которых обычно начинал «пытать» моих жертв... о родителях, о юности, студенческих годах....

Не буду вдаваться сейчас в детали «себя», это требует еще серьезных воспоминаний и самоанализа, может быть, если удастся, я когда-нибудь напишу мемуары; не исповедь, как сейчас нередко пишут, потому что опубликованная исповедь — это *contradictio in adjecto*, нечто вроде белой черноты.

Я вырос в семье бессарабских евреев. Мои родители — простые малограмотные люди. Один мой дед был пастухом, другой — столяром, но в живых я их не застал. Родился я в Волгограде, где мама была в эвакуации, а в 1947 г. родители вернулись в Кишинев, где жили до войны. В средней школе, как и в высшей, у меня были прекрасные учителя. Достаточно сказать, что замечательная учительница Анна Сауловна Мундер, преподававшая мне французский язык до 8-го класса (а я,

очевидно, был одним из любимых ее учеников), получила образование в Сорбонне. В Кишиневе я окончил школу рабочей молодежи, работая слесарем-сборщиком на заводе, производившем стиральные машины. Так что интерес к общественным наукам с семейными традициями никак не мог быть связан. В 1963 г., сразу после окончания школы, поступил в Герценовский институт в Ленинграде, на исторический факультет. Хотел поступить на философский в ЛГУ, но меня не допустили к экзаменам, так как у меня не хватало пяти месяцев рабочего стажа, а на философский факультет, как и на юридический и журналистики, требовалось не меньше двух лет стажа работы.

Но как получилось, что сын малограмотных родителей решил заняться философией? Что-то или кто-то подтолкнул?

По-моему, никто и ничто не подталкивало к этому, во всяком случае снаружи. Все мои друзья поступали в технические вузы и стали инженерами, и я, поступая на гуманитарный факультет, был белой вороной. Многие уговаривали меня не совершать этой ошибки, доказывая, видимо, вполне обоснованно, что на этом поприще меня не ждет ничего хорошего. Так что социальная среда, влияние которой нам, как социологам, так хочется видеть, если и толкала меня куда-то, то совсем в другую сторону. Впрочем, если как следует поискать, то, конечно, можно найти и влияние среды. Но, вероятно, были некие внутренние стимулы сделанного мной выбора. В средней школе, которую я окончил с серебряной медалью, у меня проявлялись склонности к гуманитарному знанию, к языкам и т.п. Мне кажется, что в детстве у меня было очень развито воображение, и я до довольно солидного возраста верил в реальность сказочных персонажей и Деда Мороза. Еще дольше я верил в коммунизм как светлое будущее всего человечества. Будучи в детстве и юности усердным читателем газет и веря тому, что в них писали, я, видимо, стал приверженцем какой-то формы социального и гуманистического идеализма. Может быть, все это сказалось при выборе жизненного и профессионального пути.

Итак, ты поступил в Герценовский институт, что далее...?

Социологии в Герценовском, конечно, тогда еще не было. Но я с самого начала активно самостоятельно занимался философией, философией истории и социологией. О годах учебы у меня сохранились самые светлые воспоминания. Со второго курса я обучался по так называемому индивидуальному плану со «свободным расписанием». Это означало, что я мог не ходить на лекции или ходить только на те, которые считал нужными, посещая только семинары и французский язык. Надо сказать, что я обучался в специальной группе, где готовили преподавателей истории на иностранном языке. Сначала меня туда не приняли из-за «неарийского» происхождения (печально известный «пятый пункт»), и я учился в обычной группе, но потом все же перевели в эту группу, «обменяв» на парня, которому этот французский был до лампочки и которого туда ранее силком затащили. «Обменом» остались довольны все. В Институте – прекрасная библиотека, усердным читателем которой я был все студенческие годы. Кроме того, я часто посещал Публичку, в том числе – спецхран, куда меня устроил один из моих любимых преподавателей, историк Юрий Васильевич Егоров. Так что я довольно рано стал читать качественную литературу, как старую, дореволюционную, так и новую. Обязательными предметами я занимался главным образом во время сессии и перед ней, а остальное время – тем, что меня интересовало. Поэтому у меня не было «перехода» от истории вообще к истории социологии.

Кто в те годы оказал на тебя наиболее сильное влияние? У кого ты занимался в аспирантуре?

Учителя – особая тема. С учителями мне вообще здорово повезло и в школе, и в

институте, и в аспирантуре, и за это я бесконечно благодарен судьбе и, разумеется, им самим. Прежде всего, среди институтских учителей, конечно, необходимо упомянуть профессора Эльмара Владимировича Соколова; к несчастью, он ушел из жизни в апреле 2003 года. Он руководил в Институте философским кружком, в котором я состоял с первого курса и был его старостой. Он был моим старшим другом, проводил со мной много времени и в значительной мере научил меня думать. Я его очень любил, и благодарность к нему сохранится навсегда в моем сердце. Другим моим учителем в студенческие годы и впоследствии был и в известном смысле всегда остается Игорь Семенович Кон. Он был моим научным руководителем в аспирантуре и образцом, которому я хотел подражать, хотя у меня не всегда это получалось. Встреча с Игорем Семеновичем, перед которым в студенческие годы, в аспирантуре и впоследствии я благоговел и которым восхищался и продолжаю восхищаться до сих пор, была, безусловно, одной из самых больших и несравненных удач в моей жизни. Наконец, еще одним прекрасным учителем для меня стал Юрий Александрович Левада, в семинаре которого мне посчастливилось участвовать. Были и другие замечательные учителя, о которых я еще надеюсь когда-нибудь рассказать. Впрочем, «были» – неверно сказано, и прошедшее время здесь неуместно. Они продолжают ими быть и сегодня.

Когда мы начинали интервью, вопроса, который я сейчас задам тебе, не могло быть. В конце 2006 г. скончался Ю.А. Левада. Ряд лет ты был причастен к его семинару. Не мог бы ты поделиться своими воспоминаниями о Ю.А. Леваде, его семинаре?

Юрий Александрович Левада скончался 16 ноября прошлого года. Это тяжелейшая утрата для меня, как и для многих людей, знавших его. Несомненно он останется со мной, в моем сознании столько, сколько буду я. Но уже то, что он был в моей жизни, большое счастье и подарок судьбы. У каждого, кто общался с ним, был, конечно, свой Левада. Я скажу несколько слов о своем. Я познакомился с ним заочно как с автором книги «Социальная природа религии». Эта небольшая по размеру книжка поразила меня не только совершенно новым для меня содержанием, но и необычностью самого стиля изложения, существенно отличавшегося от всего, что я читал до того. Спустя пару лет я впервые увидел Юрия Александровича; это было в 1968 г. в ЛГУ, где он выступал оппонентом на защите докторской диссертации Владимира Александровича Ядова (впоследствии он был оппонентом на защите и моей докторской диссертации, чем я, конечно, горжусь). Затем, после переезда в Москву, я познакомился с ним лично, был, как я уже сказал, участником его семинара и нередко общался с ним в формальной и неформальной обстановке. Знакомство с Левадой означало одновременно вхождение в особую среду, которая на долгие годы стала моей, среду высококвалифицированных коллег, порядочных людей и друзей.

Юрий Александрович был несомненным лидером и учителем, но при этом удивительным образом он не лидировал и не учил. Его влияние происходило как бы само собой, без каких-либо внушений, нравоучений или дидактических ухищрений. Важен был сам пример его личности и деятельности. Для меня это была постоянно профессиональная и нравственная школа, точнее, община. О Леваде и его школе (а это была и есть научная школа в подлинном смысле слова), надеюсь, еще будет написано немало, основательно и серьезно. Сейчас же я бы хотел отметить, помимо высочайшего профессионализма, такие его качества, как честность и любовь к свободе. Эти две черты, как мне кажется, теснейшим образом взаимосвязаны: только свободный человек может быть честным, и наоборот. Вслед за Токвилем он мог бы сказать: «Я любил бы свободу во все времена, но теперь я ее просто обожаю». Его свободолюбие носило столь же естественный и непоказной характер, как и лидерство. В нашей стране это качество встречается не так уж часто, считается чем-то не очень обязательным, подозрительным или даже вредным, хотя многие кардинальные проблемы

российского общества порождены именно отказом от свободы как фундаментального онтологического свойства человека. Мало кто это осознает, но это так: плата за отказ или уход от свободы для общества, как правило, бывает очень высокой, особенно в долгосрочной перспективе. Левада же, как и многие выдающиеся люди в истории России, заплатил довольно высокую цену за любовь к свободе и стремление к ней. Это относится и к советскому, и к постсоветскому периодам его жизни и деятельности. Думаю и надеюсь, что его нравственное и профессиональное влияние на российскую социологию и российское общество будет расти. Если же этого происходить не будет, то это будет означать лишь одно: их собственную деградацию.

В опубликованном интервью Геннадий Батыгин неоднократно возвращается к теме своего еврейства. Подробно остановился на этом вопросе Владимир Шляпентох [18; 19]. Есть ли в твоей карьере что-либо, детерминированное национальностью? Хотел бы ты об этом рассказать?

Хочу заметить, что внимание к своей собственной и чужой этничности, национальной принадлежности, на мой взгляд, нормально и «естественно» (впрочем, мне приходилось писать, что нет более искусственного понятия, чем понятие «естественное»). Но в определенных пределах. Когда подобное внимание приобретает утрированный характер, оно зачастую является признаком личной и (или) социальной патологии, вызванной разного рода исключительными, индивидуальными и социальными, обстоятельствами. Если человек повсеместно, постоянно и непрерывно, 24 часа в сутки, ощущает себя только русским, евреем, инуитом или индейцем намбиквара, а не москвичом, сибиряком, парижанином, профессионалом в какой-либо области, отцом, футболистом, филофонистом и т.п., а также, между прочим, человеком, то его моральные и интеллектуальные качества мне представляются весьма сомнительными.

Относительно моего еврейства хотел бы уточнить, что специально еврейство никто во мне не формировал. Да и в наших условиях это было, конечно, почти невозможно. Я не посещал (и не мог посещать, даже если бы захотел) хедер, не изучал Талмуд, не учил иврит. Я понимаю идиш, на котором говорили родители. Но меня не водили в синагогу. Вероятно, еврейское происхождение и среда в детстве как-то влияли на меня «объективно» и непроизвольно, но как именно — это предмет для специальных размышлений и анализа.

Более определенным можно считать «негативное» влияние на меня моего еврейства в форме антисемитизма. Ведь в СССР каждый еврей по происхождению непроизвольно и автоматически становился членом своего рода полуполюгальной, третируемой и презираемой категории под названием «еврей». Само слово «еврей» практически не фигурировало в СМИ и воспринималось как оскорбление. Считалось (впрочем, это сохраняется и сегодня), что еврей как минимум не должен афишировать своего еврейства, а еще лучше — отмежеваться от него или осудить его. Не думаю, что именно еврейство привело меня в социологию. Но благодаря антисемитизму у меня, как и у любого еврея (или не-еврея, любого человека в подобной ситуации), было больше стимулов. Я с раннего возраста стал понимать, что если хочу чего-нибудь добиться, то должен как можно больше и лучше работать, что могу рассчитывать только на свои силы. Это, впрочем, не помешало мне встретить на своем жизненном пути великое множество порядочных, добрых и просто нормальных людей разных национальностей, которые мне так или иначе помогали, за что, конечно, огромное спасибо им и судьбе. И антисемитизму тоже спасибо: ведь это мощный стимулирующий фактор в деятельности социолога, если ему повезло родиться евреем. Ура! На этой

оптимистической ноте можно и закончить...

...можно, но вот последний вопрос: что ты можешь сказать о нашем поколении российских социологов?

Вообще-то, в понятиях поколенческих я не пытался пока специально осмысливать себя, своих друзей и коллег, близких мне по возрасту. Боюсь, что об этом я ничего интересного или полезного пока сказать не могу. Понятие «поколение», как и понятие «современники», которого мы коснулись выше, мне представляется весьма дифференцированным. В моем «поколении», как и в предыдущих, что-то и кто-то меня привлекает, а кто-то и что-то — отталкивает. Такого рода суждения о поколениях, носящие, конечно, ценностный характер, а не хронологически-возрастной, требуют определенной временной дистанции, и, находясь «внутри» поколения, очень легко ошибиться. В шестидесятые годы понятия «шестидесятники» не существовало, да и позднее оно относилось лишь к определенной, может быть, небольшой части современников, которые отождествляли себя с определенными идеалами, связанными с первой попыткой десталинизации. В случае с моим поколением, 1945 года рождения и около того, нужно учитывать и демографический фактор, обусловленный войной: нас просто мало, людей, родившихся и выживших в это время.

Что касается социологии, то в 1960-е годы, когда я был студентом, она рассматривалась у нас как новая (в очередной раз) научная дисциплина. Она была модной наукой, чего, к сожалению, нельзя сказать о нынешнем времени. Но моды, как известно, возвращаются. Надеюсь и даже уверен, что и мода на социологию вернется, причем достаточно скоро. Эта социология, будет, конечно, отличаться от сегодняшней, оставаясь при этом самой собой.

1. Гофман А.Б. История социологии и история социальной мысли: общее и особенное (1996) // Гофман А.Б. Классическое и современное. Этюды по истории и теории социологии. М.: Наука, 2003. С. 360–361.
2. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии: Учебное пособие для вузов. М.: Мартис, 1995; 8-е изд. М.: Книжный Дом «Университет», 2006.
3. Арон Р. Этапы развития социологической мысли / Общ. ред. и предисл. П.С. Гуревича. М.: Прогресс, 1993.
4. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991; Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М.: Канон, 1995.
5. Гофман А.Б. Дюркгеймовская социологическая школа // История буржуазной социологии первой половины XX века / Под. ред. Л.Г. Ионина, Г.В. Осипова. М.: Наука, 1979. (То же в кн.: Гофман А.Б. Классическое и современное. Этюды по истории и теории социологии. М.: Наука, 2003. С. 429–470.)
6. Гофман А.Б. Заметки к сравнительному анализу Дюркгейма и Макса Вебера (1989) // Гофман А.Б. Классическое и современное. Этюды по истории и теории социологии. М.: Наука, 2003. С. 422–428.
7. Гофман А.Б. Эмиль Дюркгейм в России. Рецепция дюркгеймовской социологии в российской социальной мысли. М.: ГУ ВШЭ, 2001. Глава; Gofman A.V. Durkheim soviétique et postsoviétique // L'Année sociologique. Paris, 1999. Vol. 49. No. 1. P. 65–81.
8. Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / Составл., пер. с франц., послесловие и комментарии А. Б. Гофмана. М.: «Восточная литература» РАН, 1996.

9. Хальбвакс М. Социальные классы и морфология / Пер. с франц. А.Т. Бикбова, Н.А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии, 2000.
10. Гране М. Китайская мысль. М.: Республика, 2004.
11. Гофман А.Б. Существует ли общество? От психологического редукционизма к эпифеноменализму в интерпретации социальной реальности // Социологические исследования. 2005. № 1.
12. A history of classical sociology / Ed. by I.S. Kon. Moscow: Progress Publishers, 1989.
13. На крючке смерть модника: Интервью // Огонек. 2002. № 46 (ноябрь). С. 56–57.
14. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. М.: Наука, 1994; 3-е изд. СПб: Питер, 2004.
15. Gofman A. Les ternels retours. Notes sur les cycles de mode // Revue européenne des sciences sociales. 2004. Т. XLII. No. 129. P. 135–144.
16. Гофман А.Б. Социология и гражданская религия в современной России // Социология и современная Россия. Сб. статей / Под. ред. А.Б. Гофмана. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. С. 84–107.
17. Гофман А.Б. От какого наследства мы не отказываемся? Традиции и инновации в постсоветской России // Россия реформирующаяся. Ежегодник – 2004 / Отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: Институт социологии РАН, 2004. С. 369–370.
18. Батыгин Г.С. «Никакого другого пути я даже помыслить не мог...» // Социологический журнал. 2003. № 2.
19. [Шляпентох В. Социолог: здесь и там](#). В кн.: Шляпентох В.Э. Проблемы качества социологической информации: достоверность, репрезентативность, прогностический потенциал. М.: Центр социального прогнозирования. 2006. С. 598 – 658.
20. [Ядов В.А.: «...Надо по возможности влиять на движение социальных планет...»](#) // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. №4. С. 6.